

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Алексей Митрофанов

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

СОВЕТСКОЙ КОММУНАЛКИ



Живая история. Повседневная жизнь
человечества (Молодая гвардия)

Алексей Митрофанов

**Повседневная жизнь
советской коммуналки**

«ВЕБКНИГА»

2019

Митрофанов А. Г.

Повседневная жизнь советской коммуналки /
А. Г. Митрофанов — «ВЕБКНИГА», 2019 — (Живая история.
Повседневная жизнь человечества (Молодая гвардия))

ISBN 978-5-235-04725-9

Эта книга посвящена целой эпохе в жизни нашей страны — эпохе коммуналок. Противоестественной, некомфортной — и в то же время по-своему душевной и уютной. Кухня, санузел, патефон, дворовые игры, общий телефонный аппарат... Автор, писатель и телеведущий Алексей Геннадиевич Митрофанов, рассматривает, перебирая один за другим, отдельные фрагменты коммунальной жизни. И в результате складывается объемная картина. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

ISBN 978-5-235-04725-9

© Митрофанов А. Г., 2019
© ВЕБКНИГА, 2019

Содержание

Что откуда взялось? Возникновение коммуналок	6
Что к чему? Организация пространства	23
Конец ознакомительного фрагмента.	30

А. Г. Митрофанов
Повседневная жизнь
советской коммуналки

© Митрофанов А. Г., 2019

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2019

Что откуда взялось? Возникновение коммуналок

Причина появления коммуналок очевидна. Очевидно и то, почему они по большей части возникали в Москве. После революции 1917 года жизнь во всей России стала нестерпимой. Безденежье, бескормица, болезни, эпидемии, братоубийства и полнейшее непонимание того, что происходит. В подобных ситуациях многие люди, выброшенные из привычного уклада, тянутся в столицу. Ограничений на перемещение в то время не было. В Москву ехали отовсюду – и здесь оставались, найдя если не счастье, то, во всяком случае, возможность что-то заработать или же украсть.

Естественно, всем этим людям следовало где-то жить. Притом жилое помещение должно быть капитальным, теплым – климат в средней полосе далек от средиземноморского. Это с одной стороны.

С другой же стороны, новые власти декларировали всякого рода борьбу с пережитками прошлого. Роскошные (как представлялось хозяевам новой жизни) многоквартирные квартиры с черными лестницами и специальными помещениями для прислуги, безусловно, относились к их числу.

Складываем два и два – и получаем целый город коммуналок – столицу государства коммуналок.

Сам Ленин в статье «Удержат ли большевики государственную власть?» излагал приблизительное действие этого механизма: «Пролетарскому государству надо принудительно вселить крайне нуждающуюся семью в квартиру богатого человека. Наш отряд рабочей милиции состоит, допустим, из пятнадцати человек: два матроса, два солдата, два сознательных рабочих (из которых пусть только один является членом нашей партии или сочувствующим ей), затем один интеллигент и восемь человек из трудящейся бедноты, непременно не менее пяти женщин, прислуги, чернорабочих и т. п. Отряд является в квартиру богатого, осматривает ее, находит пять комнат на двоих мужчин и двух женщин. – “Вы потеснитесь, граждане, в двух комнатах на эту зиму, а две комнаты приготовьте для поселения в них двух семей из подвала. На время, пока мы при помощи инженеров (вы, кажется, инженер?) не построим хороших квартир для всех, вам обязательно надо потесниться. Ваш телефон будет служить на десять семей. Это сэкономит часов сто работы, беготни по лавчонкам и т. п. Затем в вашей семье двое незанятых полурбочих, способных выполнить легкий труд: гражданка пятидесяти пяти лет и гражданин четырнадцати лет. Они будут дежурить ежедневно по три часа, чтобы наблюдать за правильным распределением продуктов для десяти семей и вести необходимые для этого записи. Гражданин студент, который находится в нашем отряде, напишет сейчас в двух экземплярах текст этого государственного приказа, а вы будете любезны выдать нам расписку, что обязуетесь в точности выполнить его”».

И всё. Не отвертись.

Поэтесса Ирина Одоевцева писала в своих мемуарах о Москве 1921 года: «Я гощу у брата и, как здесь полагается, живу с ним и его женой в одной комнате, в “уплотненной” квартире на Басманной.

У нас в Петербурге ни о каких “жилплощадях” и “уплотнениях” и речи нет. Все живут в своих квартирах, а если почему-либо неудобно (из-за недействующего центрального отопления или оттого что далеко от места службы), перебираются в другую пустующую квартиру – их великое множество – выбирай любую, даром, а получить разрешение поселиться в них легче легкого.

Здесь же, в квартире из шести комнат двадцать один жилец – “Всех возрастов и всех полов” – живут в тесноте и обиде.

В такой тесноте, что частушка, распеваемая за стеной молодым рабочим под гармошку, почти не звучит преувеличением:

Эх, привольно мы живем —
Как в гробах покойники:
Мы с женой в комодке спим,
Теща в рукомойнике.

Большинство жильцов давно перессорились. Ссоры возникают главным образом на кухне между жилищами, мужья неизменно выступают на защиту жен, и дело часто доходит до драки и, во всяком случае, до взаимных обид и оскорблений».

Ирина Владимировна рано радовалась – в скором времени и в Петербурге начнется процесс формирования коммуналок, а в какой-то момент ситуация там станет хуже московской.

В 1924 году московские власти приняли постановление «Об урегулировании жилищного дела в Москве», в соответствии с которым на каждого человека должна была приходиться площадь не менее 20 квадратных метров. Но, как известно, строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. В том числе со стороны самих властей. Поэтому теснились – в том числе и на вполне законном основании – по пять-шесть человек в маленькой коммунальной комнатке, в том числе и в уже упоминавшихся помещениях для прислуги. И ничего, не роптали. За счастье считали. А кому не нравится – вали обратно в свою глушь.

В деревнях коммуналок, как нетрудно догадаться, не было.

В том же году появился закон о выселении последних помещиков из их родовых имений. Разумеется, к тому моменту там остались в основном старые и немощные представители некогда знатных родов. Те, кто помоложе, либо отправились за границу, либо подались искать счастья в Москве, либо очутились за решеткой. Все это старичье, естественно, пополнило число столичных коммунальных жителей – в богадельни забирали далеко не всех, хотя и эта относительно гуманная практика существовала.

* * *

Сергей Михайлович Голицын писал в книге «Записки уцелевшего»: «Население Москвы с каждым днем стремительно увеличивалось. Полицейской паспортной системы тогда не успели еще придумать, прописывали граждан безоговорочно, лишь бы куда прописать, хоть в темный чулан, хоть в ванную комнату. Возвращались в Москву те, которые в свое время ее покинули из-за голода... Юноши и девушки ехали учиться и завоевывать славу. Ехали дельцы, прознавшие, что в Москве можно хорошо устроиться и нагрести много денег. У всех переселенцев был багаж, подчас весьма громоздкий, его требовалось доставить с вокзалов в какие-то квартиры. Предприимчивые люди везли с вокзалов разные товары, наконец, подмосковные крестьяне на своих лошадях доставляли мясные и молочные продукты, овощи, дрова».

Корней Чуковский писал в дневнике: «В Москве теснота ужасная: в квартирах установился особый московский запах – от скопления человеческих тел. И в каждой квартире каждую минуту слышно спускание клозетной воды, клозет работает без перерыву. И на дверях записочка: один звонок такому-то, два звонка – такому-то, три звонка – такому-то».

Он же изумлялся: «Был вчера у Тынянова. Странно видеть на двери такого знаменитого писателя табличку:

Тынянову звонить 1 раз
Ямпольскому – 2 раза
NN – 3 раза

NNN – 4 раза

Он живет в коммунальной квартире! Ход к нему через кухню. Лицо изможденное. Мы расцеловались. Оказалось, что положение у него очень тяжелое.

Елена Александровна больна – поврежден спинной хребет и повреждена двенадцатиперстная кишка. Бедная женщина лежит без движения уже неск. месяцев. Тынянов при ней сиделкой. На днях понадобился матрац – какой-то особенный, гладкий. Т. купил два матраца и кровать. Все это оказалось дрянью, которую пришлось выкинуть. “А как трудно приглашать профессоров! Все так загружены”. Доктора, аптеки, консилиумы, рецепты – все это давит Ю. Н., не дает ему писать.

“А тут еще Ямпольские – пошлые торжествующие мещане!” И за стеною по ночам кричит ребенок, не дает спать! Ю. Н. хлопчет, чтоб ему позволили уехать в Париж, и дали бы денег – в Париже есть клиника, где лечат какой-то особенной сывороткой – такую болезнь, которою болен Ю. Н. “У меня то нога отымается, то вдруг начинаю слепнуть”».

Но приходилось терпеть.

Тынянов и другие, перечисленные выше, граждане по тем временам еще неплохо устроились. Тогда остаться без жилья вообще не было чем-то выдающимся и сверхъестественным. Ну нет – и ладно. Мариенгоф писал: «Случилось, что весной девятнадцатого года я и Есенин остались без комнаты. Ночевали по приятелям, по приятельницам, в неопишемом номере гостиницы “Европа”, в вагоне Молабуха, в люксе у Георгия Устинова – словом, где на чем и как попало.

Как-то разбрелись на ночь. Есенин поехал к Кусикову на Арбат, а я примостился на диванчике в кабинете правления знаменитого когда-то и единственного в своем роде кафе поэтов...

Солнце разбудило меня... Весна стояла чудесная.

Я протер глаза и протянул руку к стулу за часами. Часов не оказалось. Стал шарить под диваном, под стулом, в изголовье...

– Сперли!

Погрустнел.

Вспомнил, что в бумажнике у меня было денег обедов на пять, на шесть – сумма изрядная.

Забеспокоился. Бумажника тоже не оказалось.

– Вот сволочи!

Захотел встать – исчезли ботинки...

Вздумал натянуть брюки – увы, натягивать было нечего.

Так через промежутки – минуты по три – я обнаруживал одну за другой пропажи: часы... бумажник... ботинки... брюки... пиджак... носки... панталоны... галстук...

Самое смешное было в такой постепенности обнаруживаний, в чередовании изумлений».

К счастью, писательская взаимовыручка в этом случае сработала безотказно: «Если бы не Есенин, так и сидеть мне до четырех часов дня в чем мать родила в пустом, запертом на тяжелый замок кафе (сообщения наши с миром поддерживались через окошко).

Куда пойдешь без штанов? Кому скажешь?

Через полчаса явился Есенин. Увидя в окне мою растерянную физиономию и услышав грустную повесть, сел он прямо на панель и стал хохотать до боли в животе, до кашля, до слез.

Потом притащил из “Европы” свою серенькую пиджачную пару. Есенин мне до плеча, есенинские брюки выше щиколоток. И франтоватый же я имел в них вид!»

Молодость и поэтическая одаренность позволяли видеть во всем этом исключительно забавные истории и увлекательные приключения. Бездомным в возрасте, больным было гораздо хуже.

* * *

Коммунальные квартиры возникали всюду, даже в самых, казалось бы, элитных домах. В частности, в роскошном доме на московской улице Солянке, 1/2. Он был построен в 1915 году Варваринским обществом домовладельцев и изначально позиционировался как элитный. Тем не менее после 1917 года практически все бывшие роскошные квартиры были порезаны на коммунальные.

Краевед Юрий Федосюк вспоминал: «С наплывом людей из провинции некогда богатые многокомнатные квартиры в предреволюционных доходных домах превратились в коммунальные – на несколько семей. Существовал приказ, предписывавший на каждом доме вывешивать жестяные доски со списком ответственных съемщиков – по квартирам. Любопытно было читать эти списки: при каждой квартире значилось до десятка фамилий! Каким-то обратным приказом все эти доски после войны были удалены. Помню случайно уцелевшую в 1961 году в подъезде дома № 1 по Машкову переулку: только в квартире № 17 была указана одна фамилия – Е. П. Пешкова (вдова А. М. Горького), во всех остальных проживало по несколько семей; а ведь в доме, комфортабельном и благоустроенном, до революции жили преимущественно представители интеллигенции, профессура и врачи.

Коммунальные квартиры стали неперенным и неизбежным атрибутом послереволюционного быта. Можно себе представить, как осложняли жизнь “места общего пользования”, кухня, где одновременно шипело несколько керосинок и примусов, вражда случайно объединенных жилплощадью самых разных по культурному уровню и происхождению семей, драка за крохотный участок в коридоре или на кухне: “Опять ваш велосипед весь коридор загроживает”, “А вы свой столик на кухне подальше отодвиньте, нечего других оттеснять”, “Вы бы хоть научились в уборной воду спускать, теперь лакеев нет”, “Не смейте собаку в ванне мыть” и т. п. Входы в квартиры были снабжены либо несколькими “индивидуальными” звонками, либо одним общим, но с многочисленными карточками: Ивановым – один раз, Петровым – два звонка, Сидоровым – два коротких, один длинный и т. д. На самих входных дверях висело по несколько почтовых ящиков с указанием фамилии и выписываемой периодики».

Детский писатель Владимир Артурович Лёвшин рассказывал о деградации знаменитого дома Пигита, в котором жил он сам, а также Михаил Булгаков: «Дом пятиэтажный... Один из двух его корпусов – тот, что на пол-этажа повыше, выходит фасадом на улицу; другой – буквой П – находится во дворе, куда ведет длинная подворотня. Когда-то две клумбы и фонтан украшали его асфальтовый прямоугольник. В центре фонтана стояла скульптура: мальчик и девочка под зонтом. Теперь на этом месте растут два деревца, огороженные низенькими зелеными кольшками.

Проходя мимо дома Пигит теперь, в эпоху пластика и железобетона, вы вряд ли обратите на него внимание: типичный для старой Москвы доходный дом, какие строили в начале века в расчете на “чистую публику”. А прежде, до реконструкции Садового кольца, еще не стиснутый громадами каменных соседей, дом выглядел внушительно. Шикарные эркеры, лепные балконы... Нарядный, полукругом выгнутый палисадник отделял здание от тротуара.

Поверх чугунной ограды рвались на улицу тугие соцветия невиданно крупной сирени.

Бельэтаж с длинными балконами на улицу занимал сам Пигит. Компаньон его, владелец гильзовой фабрики Катык (“Покупайте гильзы Катыка!”), разместился на четвертом этаже второго корпуса. Кто же еще? Директор Казанской железной дороги Пентка (подъезд № 7, отдельный). Управляющий Московской конторой императорских театров, он же художник по совместительству, фон Бооль (это про него шалыпинское: “Я из него весь ‘фон’ выбью, одна ‘боль’ останется!”). А одно время обитал тут даже миллионер Рябушинский – в огромной художественной студии, снятой якобы для занятий живописью, а на самом деле для внесемейных

развлечений. Таких, расположенных одна над другой студий в доме три. Рябушинский занимал верхнюю, там и стрелялся, впрочем, без серьезных последствий».

А вот что стало с домом после 1917 года: «Перемены, которые принесла революция, не могли не коснуться и дома Пигит. Постановлением районного Совета из дома выселены “классово чуждые элементы”. Взамен исчезнувших жильцов появились новые – рабочие расположенной по соседству типографии. Одни расселились в опустевших помещениях, другие заняли комнаты в квартирах оставшихся. Оставшиеся – это интеллигенты, из тех, кто либо сразу принял революцию, либо постепенно осваивался с ней.

К этому времени относится знаменательное событие в послереволюционной истории дома: он становится первым в Москве, а может быть и в стране, домом – рабочей коммуной. Управление, а частично и обслуживание его переходят в руки общественности. Есть здесь свои водопроводчики, электрики, плотники, врачи. Моя мать, например, медицинская сестра, и ее могут в любое время вызвать к больному... Словом, каждый делает, что может. Все это, разумеется, совершенно безвозмездно».

* * *

Еще один, весьма своеобразный тип советской коммуналки описывали Ильф и Петров в романе «Двенадцать стульев»: «Это была старая, грязная московская гостиница, превращенная в жилтоварищество, укомплектованное, судя по обшарпанному фасаду, злостными неплательщиками.

Ипполит Матвеевич долго стоял против подъезда, подходил к нему, затвердил наизусть рукописное объявление с угрозами по адресу нерадивых жильцов я, ничего не надумав, поднялся на второй этаж. В коридор выходили отдельные комнаты. Медленно, словно бы он подходил к классной доске, чтобы доказать не выученную им теорему, Ипполит Матвеевич приблизился к комнате № 41. На дверях висела на одной кнопке, головой вниз, визитная карточка:

Авессалом Владимирович ИЗНУРЕНКОВ

В полном затмении, Ипполит Матвеевич забыл постучать, открыл дверь, сделал три луна-тических шага и очутился посреди комнаты.

– Простите, – сказал он придушенным голосом, – могу я видеть товарища Изнуренкова?

Авессалом Владимирович не отвечал. Воробьянинов поднял голову и только теперь увидел, что в комнате никого нет. По внешнему ее виду никак нельзя было определить наклонностей ее хозяина. Ясно было лишь то, что он холост и прислуги у него нет. На подоконнике лежала бумажка с колбасными шкурками. Тахта у стены была завалена газетами. На маленькой полочке стояло несколько пыльных книг. Со стен глядели цветные фотографии котов, котиков и кошечек. Посредине комнаты, рядом с грязными, повалившимися набок ботинками, стоял ореховый стул. На всех предметах мебелировки, а в том числе и на стуле из старгородского особняка, болтались малиновые сургучные печати. Но Ипполит Матвеевич не обратил на это внимания. Он сразу же забыл об Уголовном кодексе, о наставлениях Остапа и подскочил к стулу.

В это время газеты на тахте зашевелились. Ипполит Матвеевич испугался. Газеты поползли и свалились на пол. Из-под них вышел спокойный котик. Он равнодушно посмотрел на Ипполита Матвеевича и стал умываться, захватывая лапкой ухо, щечку и ус.

– Фу! – сказал Ипполит Матвеевич. И потащил стул к двери. Дверь раскрылась сама. На пороге появился хозяин комнаты – блеющий незнакомец. Он был в пальто, из-под которого виднелись лиловые кальсоны. В руке он держал брюки.

Увидев в своей комнате человека, уносящего опечатанный стул, Авессалом Владимирович взмахнул только что выглаженными у портного брюками, подпрыгнул и заклекотал:

– Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я заплачу, наконец!»

Многообразие форм коммунального быта способно было поразить самое изощренное воображение.

* * *

Константин Бальмонт писал в 1920 году: «Снова я проснулся в холодной постели, в комнате, издавна промерзлой, ибо давно уже нам топить было нечем. Полуоткрытыми глазами, чувствуя в душе и в теле утомление безграничное, я смотрел, и все кругом было так, совершенно так же, как это установилось уже много недель и месяцев. Я лежу на диване в комнате, которая когда-то была моим рабочим кабинетом, а теперь стала учреждением всеобъемлющим. Рабочим моим кабинетом эта комната не перестала быть. Шкаф с книгами – поэты и философы, книги по истории религий, много книг по естествознанию – стоит на своем месте: этого у меня никто не отнял. На своем месте и письменный стол; на нем тоже правильные ряды книг и вчера оконченная рукопись, которая никому не понадобится. Она никому и не нужна. Это – нечто о древних мексиканцах. Против меня, у стены, где дверь, – моя кровать. В этой холодной постели, несколько согревая друг друга телесным теплом, спят два близких мне существа. Моя девочка двенадцати лет, изголодавшаяся, ослабевшая, много недель не решающаяся выйти из постели в холодный воздух комнаты и вовсе не выходящая из дому, потому что выйти не в чем, ее мать, делящая со мной мою жизнь и, несмотря на свои лохмотья, каждое утро бегающая на Смоленский рынок, чтобы раздобыть какой-нибудь съедобной. Но, кроме пшена, что же добудешь? Тут же, около кровати, и печурка, на которой это пшено будет изготовлено».

В стране происходило нечто страшное.

* * *

Под коммуналки переоборудовали и роскошный комплекс из двух зданий, глядящих друг на друга через Петровские линии. Еще в 1874 году «Товарищество Петровских линий» скупило огромный участок земли между улицами Петровкой и Неглинной, отстроило эти два дома, а переулок между ними подарил городу. Застрелив тем самым одним выстрелом сразу двух зайцев – снискало себе славу мецената и обеспечило свободный доступ к многочисленным магазинам, которые арендовали у «Товарищества» помещения.

Здесь размещались магазин книгоиздательства «Посредник», ресторан «Россия», кафе «Элит». Петровские линии освещались редким по тем временам «яблочковыми», то есть электрическими лампами. Квартиры отличались роскошью невероятной. И все это было безжалостным образом отправлено в прошлое. На смену пришел другой мир – коммунальный.

А вот как выглядела жизнь особняка Самариных на Спиридоновке, 18. Ее описывал Сергей Михайлович Голицын: «Самаринский особняк, одноэтажный, с антресолями, в свое время занимала одна барская семья; к 1922 году он битком набился враждовавшими или дружившими между собой жильцами. В антресоли вела внутренняя, скрипевшая ступеньками деревянная лестница с обломанными резными перилами, кончавшаяся площадкой; там стояли кухонные столы с посудой и с неизменной принадлежностью всех московских квартир – прирусами, аппетитно шумевшими с утра до вечера.

С площадки вели три двери. За одной из них была маленькая комнатка, в которой жил старый холостяк – бывший капитан Полозов, о ком еще недавно вздыхала наша тетя Саша; за годы революции усы его поредели и сам он сильно потускнел. Дальнейшая его судьба сложилась печально: в середине двадцатых годов его посадили, сослали в Коми АССР, где он и умер.

За второй дверью жила студентка-медичка, скромная девушка, время от времени при- таскивавшая домой части человеческого тела, отчего на площадке стоял острый запах, сме- шанный с чадом от примусов и подгорелых кушаний. К уборной приходилось спускаться на первый этаж, а там постоянно оказывалось занято.

Третья дверь вела в просторную комнату, там же находилась широкая, на четыре чело- века, тахта, стояли старинные кресла и стулья, стояли, висели и просто валялись разные ста- ринные вещи, цельные и разбитые – акварельные портреты самаринских предков, фарфоро- вые вазы и чашки, бронза и т. д. Окна выходили на крышу первого этажа, куда можно было в хорошую погоду вылезать.

Из этой комнаты шли две двери – за одной находилась маленькая спальня с двумя кро- ватями, комодом и шкафом. Все там было вычищено, аккуратно застелено, подметено. Другая дверь вела в просторную комнату, также с двумя кроватями со скомканными одеялами и гряз- ными простынями и наволочками. Там стояла различная старинная мебель, цельная и поло- манная, и горами валялись многие антикварные предметы, снесенные сюда со всего самарин- ского дома; все было покрыто пылью и потеряло свой прежний, подчас художественный облик. В комнате витал резкий запах от кучи грязного белья, пахло табачным дымом и мочой. Источ- ник последнего запаха сразу обнаруживался: он исходил от втиснутого в поломанное кресло, перевернутого майоликового бюста царевны Волховы, изваянного Врубелем, и превращенного – искусствоведа, ужасайтесь! в ночной горшок.

В маленькой аккуратной спальне жили моя сестра Лина и девочки Бобринские. Эта ком- ната называлась “раем”. Первая, проходная комната называлась “чистилищем” – там спали моя сестра Соня и мой брат Владимир, уволившийся из Главморнина после последней для него экспедиции в Карское море; там же спали задержавшиеся до рассвета гости-мужчины. Комната со скверным запахом называлась “адам”, в ней жили два восемнадцатилетних друга – Юша Самарин и Миша Олсуфьев, сын нашего соседа по имени, бывшего владельца Буйц графа Юрия Александровича Олсуфьева».

* * *

Иногда случались странные преобразования. Иосиф Бродский писал в зарисовке «Пол- торы комнаты»: «Наши полторы комнаты были частью обширной, длиной в треть квартала, анфилады, тянувшейся по северной стороне шестиэтажного здания, которое смотрело на три улицы и площадь одновременно. Здание представляло собой один из громадных брикетов в так называемом мавританском стиле, характерном для Северной Европы начала века. Закон- ченное в 1903 году, в год рождения моего отца, оно стало архитектурной сенсацией Санкт- Петербурга того времени, и Ахматова однажды рассказала мне, как она с родителями ездила в пролетке смотреть на это чудо. В западном его крыле, что обращено к одной из самых славных в российской словесности улиц – Литейному проспекту, некогда снимал квартиру Александр Блок. Что до нашей анфилады, то ее занимала чета, чье главенство было ощутимым как на предреволюционной русской литературной сцене, так и позднее в Париже в интеллектуальном климате русской эмиграции двадцатых и тридцатых годов: Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. И как раз с балкона наших полутора комнат, изогнувшись гусеницей, Зинка выкри- кивала оскорбления революционным матросам.

После революции, в соответствии с политикой “уплотнения” буржуазии, анфиладу поде- лили на кусочки, по комнате на семью. Между комнатами были воздвигнуты стены – сначала из фанеры. Впоследствии, с годами, доски, кирпичи и штукатурка возвели эти перегородки в ранг архитектурной нормы. Если в пространстве заложено ощущение бесконечности, то – не в его протяженности, а в сжатости. Хотя бы потому, что сжатие пространства, как ни странно,

всегда понятнее. Оно лучше организовано, для него больше названий: камера, чулан, могила. Для просторов остается лишь широкий жест.

Помимо излишка в тринадцать квадратных метров, нам неслыханно повезло еще и в том, что коммунальная квартира, в которую мы въехали, была очень мала, часть анфилады, составлявшая ее, насчитывала шесть комнат, разгороженных таким образом, что они давали уют только четырем семьям. Включая нас, там жило всего одиннадцать человек. В иной коммуналке число жильцов могло запросто достигать и сотни. Середина, однако, колебалась где-то между двадцатью пятью и пятьюдесятью. Наша была почти крошечной.

Разумеется, мы все делили один клозет, одну ванную и одну кухню. Но кухню весьма просторную, клозет очень приличный и уютный. Что до ванной – гигиенические привычки были таковы, что одиннадцать человек нечасто сталкивались, принимая ванну или стирая белье. Оно висело в двух коридорах, соединявших комнаты с кухней, и каждый из нас на зубок знал соседское исподнее.

Наш потолок, приблизительно четырнадцати, если не больше, футов высотой, был украшен гипсовым, все в том же мавританском стиле орнаментом, который, сочетаясь с трещинами и пятнами протечек от временами лопавшихся наверху труб, превращал его в очень подробную карту некой несуществующей сверхдержавы или архипелага. Из трех высоких сводчатых окон нам ничего не было видно, кроме школы напротив; но центральное окно одновременно служило дверью балкона. С этого балкона нам открывалась длина всей улицы, типично петербургская безупречная перспектива, которая замыкалась силуэтом купола церкви св. Пантелеймона или – если взглянуть направо – большой площадью, в центре которой находился собор Преображенского полка ее императорского величества».

* * *

Александр Каплун вспоминал знаменитый нащокинский дом в Воротниковском переулке, тоже превращенный в простую московскую коммуналку: «Квартира в бельэтаже, туда вела мраморная лестница с бронзовыми шариками для крепления ковра. В квартире жило шесть семей. Четыре из них – мои родственники со стороны отца. Самую большую площадь занимали дядя Володя, тетя Аня (старшая сестра отца) и их дочь Мирочка, очень красивая и веселая девушка. Она стала учительницей, потом работала в “Труде”. Сын, Марик Новицкий, уже жил отдельно. Мы им очень гордились – известный эстрадный артист. Главная особенность дяди Володиных комнат – огромное количество книг. У нас, например, книг было не больше десятка: справочник Нине, автобиография Сталина (подарок отцу от сослуживцев), Краткий курс ВКП(б) и несколько моих сказок. Мама стала покупать книги много позже.

Три семьи жили в бывшей большой комнате, разделенной перегородками на три. Раньше там жила почти вся семья отца: моя бабушка, отец, два его брата и две сестры. Потом папа женился, и отгородили 11 метров с одним окном, потом вышла замуж тетя Рива, женился дядя Митя, они разъехались на Самотеку и к Красным воротам. Женился дядя Яша. отгородили еще 11 метров – получилось три комнаты».

Упомянутые здесь перегородки – вещь очень распространенная в коммунальной квартире. Нормальное жилище превращалось в коммуналки чаще всего наспех и, как думалось, на время. На совсем непродолжительное время. И поэтому перегородки рождались и стояли десятилетиями, переживая не одно поколение людей.

Благодаря этой технологии было прекрасно слышно все, что происходит у соседей. А детям, разумеется, еще и видно – редкий представитель подрастающего поколения не залезал на шкаф, чтобы через перегородку посмотреть на жизнь каких-нибудь там дяди Миши с тетей Дашей.

Да и чужая кошка, прыгнувшая сверху прямо на стол, уставленный едой, не считалась чем-то сверхъестественным. Ну кошка и кошка. С кем, как говорится, не бывает.

Особо неудобными, конечно, были наиболее роскошные апартаменты. Комнаты в них располагались анфиладами, и, соответственно, все коммуналки были проходными. Спишь себе на какой-нибудь барской кровати, а мимо тебя чужая бабушка идет опорожнить свою ночную вазу. Конечно, все, что можно было, занавешивали дорожными туркменскими коврами и закрывали не менее ценными, коллекционными китайскими ширмами – эти барские безделушки вдруг обретали совершенно неожиданную функциональность. Но комфортным проживанием подобное, конечно, все равно нельзя было назвать.

* * *

Фактически в музей – только без посетителей – был превращен особняк Маргариты Кирилловны Морозовой. Там разместили отдел по делам искусств при Наркомпросе. Саму же бывшую хозяйку пожалели и не выгнали: ей на пару с сестрой Еленой Кирилловной Востряковой предоставили две комнаты в подвальном помещении, где некогда размещалась прислуга.

Художница Ирина Ивановна Соя-Серко вспоминала: «Довольно продолжительное время наша семья жила в подвале, в большой комнате. Здесь было сыро, солнце не баловало нас. Обувь под кроватями становилась зеленой. Ранней весной нас заливало талыми водами так, что пройти в квартиру можно было только по досточкам, положенным на кирпичи. Окна в квартире были чуть выше асфальта. Рядом с нашими двумя комнатами жил истопник со своей женой, прачкой. Время от времени он напивался и затихал, зато бурно вела себя его жена. В средней комнате жила студентка, а в самой дальней – супруги, рабочие типографии. Умывались все над кухонной раковиной, туалетного мыла не было, мылись стиральным. Но в квартире царил лад, никто не мешал жить другому. Редкие скандалы истопника и его жены встречали снисходительно. Правда “супруг из типографии”, приходя с работы, устраивался с баяном и целый вечер пел “Кирпичики”, от чего можно было сойти с ума... Несмотря на скудость нашего житья, мы считали, что живем неплохо. У нас были знакомые, друзья, мы ходили в гости, сами устраивали “приемы”. Мы придумывали всякие скетчи, шаржи, эпиграммы, шуточные выступления...

Когда в 1934 году нам посчастливилось получить отдельную квартиру, мы были первые из наших родных и знакомых, кто мог жить без соседей. И хоть наша квартира не имела кроме электричества и водопровода никаких удобств, мы были счастливы!»

Все это считалось нормой. В бывшем доме Живаго на Большой Дмитровке продолжал жить сам бывший владелец, сам доктор Живаго (не придуманный Борисом Пастернаком, а живой, настоящий, такой тоже был, служил в Голицынской больнице). Он писал в дневнике: «Поел хлеба при свете огарка, так как в моей комнатке t ниже нуля, поспешил в ледяную постель... Впрочем, это повторяется чуть ли не ежедневно, у нас не топят. В кабинете t доходит до 4 ниже нуля. Пишешь свои работы и дрожишь в шубенке, руки синие, плохо слушаются, а на глазах совсем нередко слезы – до чего дожили?!»

Эта комнатка была единственным жилищем бывшего московского домовладельца. Шел 1919 год.

Интересен отчет о перемещениях старшей дочери Льва Толстого, Татьяны Львовны Сухотиной-Толстой, оставленный Татьяной Алексеевной Фохт: «После революции Таня с Танечкой перебрались в Москву. Сначала они жили при музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке. Там тетя Таня открыла вечернюю студию рисования, где преподавала она сама. Была она хорошей художницей, и преподавал также художник С. А. Виноградов. Я посещала эту студию, но, к сожалению, недолго... Из музея тетя Таня переехала на Поварскую. Из конюшен были выстроены квартиры».

В ход шло абсолютно любое пространство, имевшее стены, пол и потолок. Окна и двери тут были уже не обязательны.

* * *

Создавали коммуналки и в монастырях. К примеру в Новоспасском. Там они соседствовали с Московским историческим архивом, угольным и дровяным складами, котельной мебельной фабрики и вырезвателем.

Впрочем, в 1960-е все это разношерстное хозяйство выселили, саму же бывшую обитель отвели под реставрационные мастерские им. И. Э. Грабаря, так называемые «Грабари». А в 1990 году его вернули верующим.

В 1925 году в Ильинской башне Китай-города проживали несколько студентов Московской духовной академии. А рядышком, в самой стене, расположилась одна из многочисленных воровских шаек. Люди осваивали чердаки, подвалы. Дворнички вообще считались шиком. Под жильем шло все.

Искусствовед и реставратор Елена Владимировна Трубецкая писала в дневнике: «В расход отправилось и специфическое помещение, расположенное в здании бывших курсов Герье, ныне Московский педагогический государственный университет». Биохимик Илья Збарский, сын директора лаборатории при Мавзолее Ленина Бориса Збарского, писал: «В ноябре 1939 года я наконец женился на Ирине Карузиной... В связи с этим я переехал в квартиру уже покойного Петра Ивановича, находившуюся в здании Анатомического корпуса... Мы с Ириной поместились в бывшем кабинете профессора Карузина. У нас была отдельная комната и, что особенно важно, не приходилось ждать очереди в уборную, к умывальнику и к телефону и следить, когда ванная комната на короткий срок освободится от навешанного там белья и, наконец, можно будет использовать ее по назначению. Но в квартире все же было тесновато».

Выходит, что соседство с трупами вовсе не раздражало молодого мужа.

А некогда популярный адвокат Николай Адрианович Сильверсван совершенно неожиданно обосновался на Собачьей площадке, в историческом особняке Хомяковых. Большую его часть занимал Музей 40-х годов (естественно, имеются в виду сороковые годы XIX века), а в одной из комнат жил адвокат со своей женой Еленой Владимировной. Вероятно, как раз благодаря этой жене – она служила в Третьяковке. Ну и адвокатские способности наверняка не оказались лишними.

* * *

Какими только правдами-неправдами советский человек вселялся на вожаделенные квадратные метры! Чего только он не предпринимал! Каких только курьезов не было в тогдашнем советском жилищном хозяйстве. Вот, например, воспоминания Лидии Борисовны Либединской: «Жили мы всей семьей в одной комнате, которую отец получил в центре Москвы от “Общества возрождения Китая” – было в начале двадцатых годов такое общество! Чем оно занималось, я не знаю. В нашем доме жил один-единственный китаец, который, когда мне минуло тринадцать лет, вдруг объяснил мне в любви и даже сочинил русские стихи:

Люди живут, как цветы цветут,
Моя голова вянет, как трава...»

Особенно активно переоборудовать под коммуналки всяческого рода помещения стали после окончания Великой Отечественной войны. Люди стали жить в сараях, в складских помещениях, в кладовых, в храмах, в котельных. Все это, естественно, не украшало город.

* * *

Удивительно, но коммунальные квартиры были изначально предусмотрены даже в так называемых сталинских высотках, которые изначально строились как этакое воплощение советской роскоши. Но, с одной стороны, официальная идеология равенства и братства, видимо, мешала заселить их исключительно профессорами, композиторами, партийными деятелями и офицерами КГБ. Некоторые квартиры были отданы рабочим. С другой стороны, все прекрасно понимали, что отдельная квартира в таком доме – чересчур роскошно для простого токаря с завода им. И. А. Лихачева. Это, впрочем, понимал и сам рабочий и охотно заселялся в коммуналку с видом на Москву-реку или Кремль.

В коммуналки превращались и роскошные дореволюционные особняки, которые, казалось бы, никак не подходили для подобных целей. К примеру, особняк – практически дворец – семейства Тютчевых в Москве, в Армянском переулке. Он, впрочем, еще ранее использовался как Дом соцобеспечения им. А. Н. Некрасова, описанный в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» как дом 2 Старсобеса. Именно тут действовали Альхен, Сашкен и Паша Эмильевич, а Остап Бендер искал воробьяниновский стул и запускал огнетушители. Когда же богадельню упразднили, в доме разместили всевозможные конторы, магазины, а часть отвели под коммунальное жильё.

Под коммуналки была перекроена целая область – Калининградская, бывшая Восточная Пруссия, отошедшая к СССР в 1945 году по Потсдамскому соглашению. Она активно заполнялась гражданами двух типов – военнотружущими и так называемыми переселенцами. Жильё требовалось и тем и другим. И если рядовой состав спокойно размещали в многочисленных казармах, то офицерам и гражданским требовались квартиры. Читай, коммуналки.

Если офицеры изначально знали, на какие именно лишения идут, надев погоны, то с гражданскими поступили, мягко говоря, по-свински. Им обещали молочные реки с кисельными берегами – собственные особняки, богатые подъемные, рогатую скотину и т. д. Действительность была совсем иной. Оперативные сводки регулярно заполняли сообщения такого плана:

«На улице Энергетиков в доме № 71 на 2-м этаже в комнате площадью 22 м кв. проживает 11 человек (семьи рабочих Стовцевой, Дажинной и Вуколовой), на этом же этаже в другой комнате площадью 25 м кв. проживает 15 человек... Эти комнаты находятся в антисанитарном состоянии, а именно: стены, потолки заплесневелые, полы грязные, жесткий и мягкий инвентарь отсутствует, все проживающие рабочие вповалку спят на полу»;

«На улице Каретная, дом 12, в помещении бывшей мертвецкой-крематория проживает 4 семьи рабочих... Помещение под жильё совершенно непригодно, нет окон, отопительная система отсутствует, полы цементные, в помещении масса крыс, по заявлению Алексеевой есть случаи укуса живущих крысами».

И так далее.

Впрочем, борьбу с крысами, недолго думая, отдали на откуп собственно переселенцам. В области издали вот такую директиву:

«а) широко разъяснять населению вред, наносимый грызунами, меры борьбы с ними... б) организовать во всех населенных пунктах и на полях проведение работ по массовому уничтожению грызунов, привлекая для этой цели все хозяйственные, общественные организации и местное население. Создать до 10.XII-46 г. в городах, рабочих поселках и райцентрах специальные отряды для уничтожения грызунов, обратив особое внимание на борьбу с грызунами в разрушенных зданиях, пустырях, местах свалок; в) в учреждениях и на предприятиях выделить ответственных лиц за проведение работ по уничтожению грызунов».

Не редки были происшествия такого плана: «14 декабря 1947 года по Комсомольской улице в доме № 2 произошел обвал стены, в результате которого погибла семья в составе 7 человек. Обвал произошел в силу воздействия большого количества осадков на ветхие стены здания при отсутствии крыши на последнем».

Об обещаниях никто уже не вспоминал – остаться бы в живых.

Впрочем, и здесь жизнь налаживалась. И вскоре власти радостно рапортовали: «Бескорвность среди переселенцев 1949 года ликвидирована, за исключением тех семей, которые имели скот, но по разным причинам сами продали, прирезали или не имеют на руках справки о бескорвности».

* * *

Вообще, после войны, вследствие очередного перераспределения людей по территории страны, вопрос с жильем встал с новой остротой. Вот один из докладов тех лет: «К нам сейчас много приезжает немосквичей, которые ранее в Москве не проживали, которые попадают сюда разными обманными путями, указывая в части, что у них в Москве проживают близкие родственники, а на самом деле у них тут никого нет. Одна категория немосквичей, которая приезжает сама. Другая категория, когда представители заводов вербуют демобилизованных из других областей и сюда их привозят, как, например, заводы “Богатырь” и “Буревестник”, которые завербовали и привезли сюда по 100 человек для работы в Москву. Их и на военный учет не принимают, и не прописывают, и здесь для этих демобилизованных создается тяжелое положение».

Комната в коммуналке, которую вроде бы совсем недавно принято было клеймить в сплетнях, анекдотах, фельетонах, вдруг снова стала пределом мечтаний. Один из московских чиновников докладывал летом 1945 года: «Большой недостаток и самый главный – это вопрос с жильем. Тут районами проделана работа, но все же этот вопрос еще является узким местом. Общежития, которые мы отметили в решении бюро МГК ВКП(б), не во всех районах сданы. Во-первых, их в некоторых районах скрывают, и, во-вторых, некоторые общежития, как в Ленинском районе, очень плохие, и туда никто не поедет. У нас по всем районам имеется общежитий на 1500 коек. Но тут вопрос осложняется тем, что некоторые демобилизованные думают, что если они сразу не получают комнату, а вселятся в общежития, то они там так и останутся, и лучше им сразу нажимать на комнату. Плохо делают общежития Дзержинский и Коминтерновский районы, которые должны были организовать общежитий на 48 коек, а сделали на 11».

Была еще одна проблема, тоже связанная с жильем для вчерашних воинов: «Как-то звонил т. Пушкин и сообщил, что тех демобилизованных не принимают на старые места работы, которые раньше жили в общежитиях или у которых комната была, но семья находится в эвакуации, а он демобилизован. Некоторые учреждения и предприятия стараются таких демобилизованных не брать, чтобы не предоставлять им жилплощади. Здесь, очевидно, должен быть соответствующий нажим со стороны нас, потому что людей на старые места надо возвращать. Я имею в виду Академию им. Фрунзе, там человек работал и жил, а сейчас его не берут, ему отказывают. Это неправильно».

Даже те, у кого были заветные комнаты, не чувствовали себя в них уютно: «Так, например, т. Илюшин вернулся с фронта 17 июля, семья у него состоит из 5 человек, потолок в его комнате обвалился. Тов. Илюшин в течение 2 лет требовал ремонта комнаты его семьи, писал с фронта неоднократные письма в райсовет, и от райисполкома т. Илюшин получил ответ, что его комната отремонтирована, и его семья хорошо устроена. В действительности никакого ремонта проведено не было. Демобилизованный красноармеец Шамин – семья его состоит из 9 человек, дочь и сын в армии, дом, в котором он проживает, требует капитального ремонта.

Во время дождя крыша протекает и в комнате текут лужи, однако там ремонт не производится. Получилось как раз очень некрасиво, потому что пришел первый берлинский эшелон, был дождь, он приходит к себе домой, а в комнате тазы, корыто. В этом же районе демобилизованный Егоров живет в комнате, которая совершенно непригодна к жилью: крыша протекает и пр. И в других районах тоже такое же положение, особенно тяжелое положение в Дзержинском районе... Например, там имел место такой случай: демобилизованный Никонов имеет семью из 5 человек – детей и жены. В результате большого разрушения квартира пришла в негодность, и они переселились жить на кухню. 19 июля кухня обвалилась, и они стали ютиться в ней по краям. После обвала т. Никонов обратился с вопросом ремонта в жилотдел, и начальник жилотдела ему ответил, что они кухню перегрузили, обвал произошел не по его вине и делать он ничего не будет. У Петрикова жена и дочь, жена очень сильно больна туберкулезом, живут под лестницей, и никаких мер со стороны районных организаций не принимается, чтобы их переселить. Демобилизованный Титков вернулся из армии 17 июля, семья его состоит из 4 человек. Дом, где они проживают, разрушен, и их переселили на площадь эвакуированных, которые вернулись, и они вот уже более 2 месяцев под лестницей. Демобилизованный Орлов – семья состоит из 14 человек, 2 дочери вернулись с фронта, мужья их в армии, сын – инвалид Отечественной войны, а жилплощади нет, комната разрушена».

А вот еще информация, подготовленная оргинструкторским отделом МГК ВКП(б):

«Инвалид т. Сельченков с семьей в 7 человек, из них 6 малолетних детей, проживает... в грязном, полуподвальном помещении в 11-метровой комнате, где пол прогнил, одна стена из фанеры худая. Тепло в комнате не держится, так как наружная дверь разрушена. Несмотря на ряд заявлений т. Сельченкова в райжилуправление, ремонт не произведен. В аналогичных условиях проживает в этом же доме, кв. 68, инвалид т. Шерель...

Тов. Фоменков (Тимирязевский район) совершенно слепой, ампутирована одна нога, не может выписаться из госпиталя, так как в его комнате пол прогнил, печка проваливается, рама неисправна...

Инвалид т. Ларионов (Железнодорожный район) после ампутации обеих ног в мае 1944 года вернулся в Москву. Но его комната оказалась занятой и, несмотря на решение народного суда о выселении жильцов, комната в течение полутора лет не освобождается. Тов. Ларионов вынужден жить вместе с семьей сестры в маленькой комнате и спать на полу.

Инвалид т. Орлов (Дзержинский район) живет с семьей в полуподвальном помещении... В комнату просачивается подпочвенная вода, на полу проложены кирпичи и доски, по которым ходит семья. Председатель райсовета т. Полякова отказала т. Орлову в предоставлении другой комнаты...

Инвалид т. Пашенцев (Ленинградский район), оставшийся без ног, проживает с семьей – жена и двое малолетних детей... в сырой комнате, оконная рама сгнила от сырости, стояк вышел из строя...

Тов. Клестов несколько раз обращался в райисполком Сталинского района с просьбой произвести ремонт комнаты... в которой с потолка и стен течет, от сырости отвалилась потолочная штукатурка. Печь неисправна, пищу готовить не на чем...

Инвалид, младший лейтенант т. Гольдин в августе с. г. вынужден был подать заявление в ЦК ВКП(б) на невнимание к нему со стороны работников Москворецкого райсобеса. Он писал: «Я – слепой, мне нужен провожатый. Во время моего пребывания на фронте вещи в комнате расхитили, мне также нужны пальто, обувь, белье. На мои обращения в райсобесе отвечали: 'Мы офицеров не обеспечиваем. Идите в Военторг' ».

Словом, проблем хватало, и не шуточных.

* * *

Вместе с тем в довоенные, военные и тем более послевоенные годы первоначальный коммунальный ажиотаж начал заметно спадать. Показательны воспоминания поэта Константина Ваншенкина: «Я учился с Толей Клочковым в геологоразведочном институте, жил далеко за городом – мест в общежитии не было – и совсем начал выбиваться из сил, когда они пригласили меня жить к себе. Время было радостное, только-только отменили карточки, но все равно было еще трудно, а они брали с меня не всю стипендию – даже оставалось на курево.

Клочковы жили в старом рабочем районе, за Павелецким вокзалом, в трехэтажном кирпичном доме. По ночам поблизости слышались звуки бодрствующей железной дороги: прокатывающийся гром сдвигаемых составов, короткие сигналы маневровых паровозов.

В квартире было десять или одиннадцать семей. Когда-то здесь жил фабричный управляющий, а после революции сюда вселили рабочих. Они переженились, повыходили замуж, пошли дети, народу сильно прибавилось, стало совсем тесно, но все привычно и по возможности дружно жили в этой квартире с двумя уборными и огромной кухней на три газовых плиты. Здесь вырос и Толя Клочков.

У них было две комнаты. В совсем крохотной, метров пяти-шести, жили бабушка и ее младший сын, Толин дядя – Коля. Он был только на год старше меня и еще служил в армии, в погранвойсках, откуда позже тогда отпускали. Бабушка была тихая, неприметная, но всегда ощущалось ее живейшее участие в общей жизни. И еще она была по натуре очень добрая – подбрасывала Толе карманных денег, а мне часто говорила: “Ешь, сынок, в аппетит, пока пупок отлетит!..”

И Толина мать унаследовала ее характер.

Мы, остальные, жили в большей комнате, метров двадцати. Толины родители спали на широкой кровати, сестренка Лида на детской, из которой уже выростала – ей было одиннадцать лет, – Толя на диване, я на сундуке.

Этот сундук у двери был немного коротковат для меня».

При таких более чем стесненных обстоятельствах взять к себе жить еще одного человека, да практически на правах члена семьи – отдавал часть стипендии на общее хозяйство, оставлял себе на сигареты и карманные расходы! Удивительный поступок – как с точки зрения нынешнего обывателя, так и стесненного со всех сторон горожанина 1920—1930-х годов.

Тогда же это было нормой.

* * *

Находилась место и какой-то совершенно необъяснимой, бескорыстной доброте. Старый москвич Владимир Юринский писал в мемуарах: «Запущенность иных фасадов и дворов казалась печатью времени, как паутина икон, картин старинных мастеров, гравюр в музеях. Свежеокрашенные особняки старинных усадеб теряли что-то в облике своем, воспринимались театральными декорациями. Нетронутые кистью маляров, влекли к себе патриархальной тайной, какой-то одухотворенностью. Тихие московские старушки, сидящие на скамьях возле них, представлялись героинями романов Тургенева, Толстого, Достоевского. Матери Валерия Старых и Мишки Этова прожили всю жизнь в тесных комнатах коммунальных квартир с общими кухнями и длинными коридорами. Тихим голосом, за вечерними чаями, грустно поблескивая старческими выцветшими добрыми глазами, неспешно рассказывали они о жизни после Первой мировой войны, после революции, о послевоенной реформе, столпотворениях на площадях в дни похорон Сталина, о разных семейных событиях, воздушных тревогах, шумных майских демонстрациях в дни их молодости.

Спать меня укладывали на раскладушках, ставя их в проходе комнаты. Семья Старых жила втроем в двадцатипятиметровой. Кроме Валерия здесь жил его старший брат. А у Этовых, в старом поповском деревянном доме, в двух маленьких комнатках обитали родители и сам Михаил с женой и годовалым сыном... Так что больше двух-трех дней подряд было неудобно оставаться ночевать».

В том, чтобы, несмотря на ужасающую тесноту, оставить на ночь, фактически совершенно чужого человека, не виделось ничего странного.

* * *

Время шло, и коммуналки становились мягче, уходила суровость, появлялась романтика. Вот воспоминания одного из ленинградцев: «Дом № 12 – большой, жильцов была тьма, но знали мы всех, и жизнь каждого из нас была частицей жизни всего дома. Праздники – помогали украшать дом, субботник – все как один. Учение МПВО – опять вместе со взрослыми: дежурили у ворот и на крыше с противогАЗами, таскали на чердак песок и наблюдали за воздушной обстановкой. И, как потом оказалось, не зря. В красном уголке торчали постоянно и на собраниях квартироръемщиков, и на лекциях о международном положении. На концерте самодеятельности значились в активистах – кто с балалайкой, кто с куплетами. Жили в доме и коренные питерцы, и выходцы из деревень. Люди разного материального достатка и образования, разных национальностей, верующие и безбожники, но, общаясь, ощущали не различия – близость, одним словом – довоенные ленинградцы. В этой людской добросердечности росли мы, подростки, она была нашими дрожжами».

* * *

Интересна история Музея В. А. Тропинина и московских художников его времени (Щетининский переулок, 10). Этот маленький особнячок выстроили еще до революции для семьи Петуховых. И еще в середине XX века им формально владел пожилой Николай Григорьевич Петухов. Фактически же это была коммуналка – власти постоянно подселяли к Петухову квартирантов. При этом оплачивать отопление, электричество, ремонт и прочие коммунальные нужды (а они в особняке обходятся значительно дороже, чем в простой квартире) должен был Николай Григорьевич – как собственник. Правда, с жильцов – в соответствии с расценками того времени – собирали некую арендную сумму, и некая ее часть даже доходила до петуховского кармана, но это, разумеется, были гроши.

На протяжении нескольких десятилетий несчастный Петухов пытался подарить свою весьма обременительную недвижимость государству. Государство отказывалось. Казалось, что это вообще никогда не закончится.

В конце концов Николай Григорьевич завещал свой домик коллекционеру Феликсу Вишневному, после чего тихим образом скончался. Тот же пошел по пути, протоптанному еще дореволюционными собирателями – открыл в особняке частный Музей Тропинина и незамедлительно передал его в дар государству, не забыв оговорить для собственного проживания небольшой апартамент. От подобного подарка отказываться было как-то не с руки. Музей поступил на баланс Министерства культуры. Дом перестал быть коммуналкой.

* * *

Строились новые дома – красивые, даже роскошные. Но коммунальная культура, словно тараканье стадо, проникало и туда. Даже самые знаковые, резонансные постройки не могли быть полностью свободными от этой социальной заразы.

Взять хотя бы гостиницу «Украина». Пафосное, богато декорированное здание высотой 206 метров и общей площадью более 88 тысяч квадратных метров. Один только шпиль тянулся на 73 метра. «Украина» до сих пор считается самой высокой гостиницей в Европе и самой высокой гостиницей в России. На момент запуска в эксплуатацию она также считалась самым высоким отелем в мире, но в 1976 году эта честь отошла к гостинице «Вестин-Пич-Плаза» в Атланта (США). Ее высота 220 метров.

Номера были выполнены по последнему слову прогресса – в них была оборудована бесшумная система вентиляции и принудительного подогрева, а также специальная система пылеудаления. А в квартирах, на кухнях были встроены две холодильные камеры – летняя на электричестве и зимняя естественного охлаждения.

Один из соавторов, архитектор Вячеслав Олтаржевский, поправ скромность, писал: «Из всех строящихся высотных зданий гостиница на Дорогомиловской набережной занимает наиболее выгодное по своей живописности положение. Величественным мощным силуэтом стройное богатое пластикой здание гостиницы возвышается над берегом Москвы-реки на широко раскрытой площади... Живописный озелененный ковер партера с фонтанами, лестницами и террасами спускается от лестницы к гранитной набережной реки, с которой монументальные лестницы ведут к площадке пристани речного флота... В ясный спокойный летний день эта живописная панорама дополняется отражением в воде силуэта белокаменного здания, завершенного позолоченным шпилем».

В разное время в ее номерах останавливались Роберт Де Ниро, Марчелло Мастоияни, Патрисия Каас, Армен Джигарханян, Алиса Фрейндлих, Раймонд Паулс, Тамара Гвердцители, Чингиз Айтматов, Эдита Пьеха, Херлуф Бидstrup, Мишель Легран, Святослав Рерих, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук. Особенной славой пользовался ресторан. Правда, некий иностранец написал, что, «завтракая в зале ресторана, испытывал на себе всю степень тяжести здания, пафоса, излишней помпезности и собственной ничтожности». Что поделать – вся советская архитектура той эпохи отличалась подавляющим величием.

Один из героев романа Эфраима Севелы «Мужской разговор в русской бане» описывал этот отель: «Гостиница – не из обычных. Простой люд туда и сунуться не может. В ней живут важные заграничные гости, а из наших, советских, только те, кто ходит в высоких чинах или чем-то очень прославился. Все тридцать этажей, тысяча комнат, как соты, набиты отборной, исключительной публикой... Гостиница “Украина” гудела как улей, и шесть скоростных вместительных лифтов мчали вверх и вниз потоки людей. На самом верху был ночной ресторан, открытый до утра. Он был единственным такого рода в Москве. И внизу два нормальных огромных ресторана. Хрустальные люстры, бронза, мрамор. Три джаз-оркестра. На дамах дорогие меха, мужчины одеты у лучших портных. Сливки общества. Вот куда я затесался».

Одной из основных изюминок гостиницы стала коллекция советского изобразительного искусства. Оно здесь представлено во всех возможных формах – и в скульптуре, и в мозаике, и в живописи. Речь не только об оформлении самого здания и его интерьеров – множество дорогих полотен украшает стены. Работы уровня Дейнеки и Поленова специально приобретались для оформления отеля.

Наибольшее же любопытство вызывают все же не полотна видных мастеров – в любом случае в Третьяковке их будет больше, а диорама Ефима Дешалыта «Москва – столица СССР», изображающая Кремль и центр Москвы 1970-х годов в масштабе 1:75. Общая площадь дио-

рамы – 306 квадратных метров (изначально было 400 квадратных метров, но часть произведения утрачена), специальная система освещения реагирует на смену времен суток, создавая соответствующую световую иллюзию. Разумеется, предусмотрено и звуковое сопровождение.

И что же? Хрущев, пришедший к власти еще до завершения строительства, лично отдал команду переоборудовать боковые флигели под обычные квартиры – якобы для гостиницы пространства было слишком много. В квартиры же въехали актер Борис Бабочкин, режиссер Сергей Герасимов, фигуристка Людмила Пахомова и другие известные люди.

И среди тех квартир, как ни парадоксально, были коммуналки. Да что там – и в самих хрущевках, призванных освободить советских граждан от совместного сортира, они тоже были. И в одной из таких коммуналок прошло мое детство.

Для друзей, для друзей.

За пьянками, гулянками, за банками,
полбанками,
За спорами, за ссорами – раздорами
Ты стой на том, что этот дом
Пусть ночью и днем всегда твой дом,
И здесь не смотрят на тебя с укорами.

Высоцкий, родившийся в 1938 году, жил здесь с конца 1940-х до конца 1950-х годов. Самое-самое время, чтобы попробовать жизнь на зубок.

Кстати, даже черный пистолет в той знаменитой песне имел свой прототип. Школьный товарищ Высоцкого Игорь Кохановский рассказывал: «Или вот песня “На Большом Каретном”. Там стояла наша школа, и там жил Володя, а в этом же доме жил его хороший друг и даже хороший родственник – Анатолий Утевский. Толя учился в той же школе и был двумя классами старше нас. Он был из семьи потомственных юристов и, когда окончил школу, поступил в МГУ на юридический факультет... Утевский проходил практику на Петровке, тридцать восемь. И ему дали пистолет – черный такой, помните: “Где твой черный пистолет?!”...».

Сам Высоцкий вспоминал то время, ту свою «каретную» компанию: «Это было самое запомнившееся время моей жизни. Позже мы все разбрелись, растерялись... Но все равно я убежден, что каждый из нас это время отметил... Можно было сказать только полфразы, и мы друг друга понимали в одну секунду, где бы ни были; понимали по жесту, по движению глаз – вот такая была притирка друг к другу. И была атмосфера такой преданности и раскованности – друг другу мы были преданы по-настоящему... Сейчас уже нету таких компаний: или из-за того, что все засушили, или больше дел стало, может быть».

* * *

Но жизнь, как обычно бывает, гораздо богаче и разнообразнее.

Коммунальная квартира начиналась с коридора. Нет, даже не с коридора – с входной двери. Когда деревянной, а когда обитой дерматином. Других вариантов не было. Замок – элементарнейший. Нет смысла ставить что-либо надежное и дорогое, если квартира – не крепость, а проходной двор. «Правила внутреннего распорядка в квартирах» от 1929 года даже специально оговаривали: «Входные двери черного и парадного ходов должны быть всегда на запоре».

Это положение, однако, то и дело игнорировалось.

В СССР тогда вообще не уделялось слишком пристального внимания замкам. Лишь бы видимость была. Ильф и Петров писали в фельетоне «Равнодушие» в 1932 году:

«Был дом, счастливый дом, семьдесят две квартиры, семьдесят две входных двери, семьдесят два американских замка. Утром жильцы уходили на работу, вечером возвращались. Летом уезжали на дачи, а осенью приезжали назад.

Ничто не предвещало грозы. О кражах даже не думали. В газетах отдел происшествий упразднен, очевидно за непригодностью уголовной тематики. Возможно, что какое-нибудь статистическое ведомство и выводит раз в год кривую краж, указывающую на рост или падение шнифа и домушничества, но граждане об этом ничего не знают. Не знали об этом и жильцы счастливого дома в семьдесят две квартиры, запертые семьдесятю двумя массивными американскими замками – производство какой-то провинциальной трудовой артели. Отправляясь в свои предприятия и учреждения, жильцы беззаботно покидали квартиры.

Сперва обокрали квартиру номер восемь. Унесли все, кроме мебели и газового счетчика. Потом обокрали квартиру номер шестьдесят три. Тут захватили и счетчик. Кроме того, вар-

варски поломали любимый фикус. Дом задрожал от страха. Кинулись проверять псевдоамериканские замки, изготовленные трудолюбивой артелью. И выяснилось. Замки открываются не только ключом, но и головной шпилькой, перочинным ножиком, пером “рондо”, обыкновенным пером, зубочисткой, ногтем, спичкой, примусной иглой, углом членского билета, запонкой от воротничка, пилкой для ногтей, ключом от будильника, яичной скорлупой и многими другими товарами ширпотреба. К вечеру установили, что если дверь просто толкнуть, то она тоже открывается.

Пришлось завести семьдесят третий замок. Это был человек-замок, гражданин пятидесяти восьми лет, сторож по имени Евдоким Колонныч. Парадные подъезды заколотили наглухо. И сидит теперь старик Колонныч при воротах, грозя очами каждому, кто выходит из дома с вещами в руках. И платится Колоннычу жалованье. И уже закупается Колоннычу на особые фонды громаднейший тулуп для зимней спячки. И все же дом в страхе. И непрерывно в доме клянут ту буйную артель, которая бросила на рынок свое странное изделие.

А ведь артель знает, что ее продукция отмыкается и пером “рондо”, и простым пером, и вообще любой пластиночкой. И работники прилавка знают. И начальники торгсектора в курсе. И все-таки идет бойкая торговля никому не нужным миражным замком – продуктом полного равнодушия».

* * *

Авторы лишь мельком коснулись тут довольно странного, непостижимого и до сих пор никем толком не разъясненного явления – тотальное закрытие парадных подъездов и перевод всего человеческого трафика на черные лестницы, которыми раньше пользовалась исключительно прислуга.

Теорий существует множество. И то, что новая власть, сама фактически вышедшая из класса прислуги, продолжала считать себя таковой и на парадных лестницах ей было некомфортно. И то, что эти самые парадные лестницы требовали освещения, отопления и уборки в гораздо большей степени, нежели черные, а новая власть была вынуждена экономить на всем.

Интересную теорию изложил писатель Юрий Маркович Нагибин: «С самого своего возникновения советская власть наложила запрет на парадные двери и проходные дворы. И в тех, и в других виделась возможность бегства. Лишь в середине тридцатых открыли ворота в Сверчков, а перед войной отомкнули парадный ход. К тому времени уже всех поймали, и бежать стало некому».

Несмотря на очевидную эпатажность этой мысли, нечто разумное в ней явно есть.

* * *

Впрочем, покинем уютное пространство любительской культурологии и вернемся на старую добрую коммунальную лестницу. Точнее, на так называемую лестничную площадку.

Рядом с дверью – совершенно фантастический натюрморт из множества разнокалиберных звонковых кнопок и разнокалиберных же проводов, к ним подходящих. Часть покрашена краской (в основном терракотового цвета), а часть нет. Отсюда сразу можно сделать вывод: те жильцы, у которых кнопки с проводами чистые, вселились позже, уже после того, как здесь в очередной раз делали ремонт и «подновляли» дверь. Жильцы с покрашенными кнопками, соответственно, являются своего рода старожилками.

Фамилии жильцов значатся здесь же, на таких же не похожих друг на друга бирочках. «Ивановы». «Петровы». «Смирнов Александр Иванович». «Попандопуло». «Меерсон». До десятка, а иной раз и больше.

В тех коммуналках, где соседи более или менее дружные, кнопка была одна. И бирка тоже. Но большая:

«Ивановы – 1 зв.

Петровы – 2 зв.

Смирнов Иван Иванович – 3 зв.

Попандопуло – 4 зв.

Меерсон – 6 зв.».

Что случилось? Почему вдруг Меерсону – шесть? А пять тогда кому?

Да никому. Может быть, жили здесь еще какие-нибудь Кимы или Интрилигатор-Козлевичи. Жили да съехали. Сами или под конвоем – подробность в данном случае несущественная и даже сильно нежелательная. А на их место заселились, например, Петровы. А Меерсону как звонили шесть звонков, так и звонят, не переучиваться же из-за такой-то мелочи. Или не мелочи?

Словом, история покрыта мраком.

* * *

И уже потом за дверью следовал коридор. Как правило, огромный, но при этом очень тесный. Неудивительно – места в комнатах не хватало на весь скарб, накопленный подчас десятилетиями.

Вот воспоминания Лидии Либединской о коммунальной квартире на Покровском бульваре, в котором жила поэтесса Марина Цветаева:

«Свернув с бульвара в один из покровских переулков, мы с Алексеем Кручёных вошли в полутемный подъезд большого “доходного” дома и вот уже поднимаемся на лифте куда-то очень-очень высоко (а может, это мне только кажется?), звонок в дверь, такая же полутемная прихожая коммунальной квартиры, загроможденная сундуками. Тяжелая дубовая вешалка, где-то под потолком велосипед, неподвижный, а потому беспомощный. В квартире идет ремонт, пол проломлен, белая меловая пыль покрывает все.

Дверь открыл высокий широкоплечий юноша в кожаной куртке на молнии. Это сын Марины Ивановны Георгий, Мур, как его называли дома. Он попросил нас пройти в комнату».

Краевед Яков Миронович Белицкий вспоминал о скромном обиталище Ильи Ильича Шнейдера, секретаря Айседоры Дункан: «Теперь, когда проходишь по этому коридору, с расположенными на видных местах книгами, плакатами и диаграммами, даже мне, не раз бывавшему здесь раньше, трудно вспомнить, где была его комнатка... Я помню этот коридор узким и темным, с длинным и унылым рядом обшарпанных дверей, за которыми бесконечно и разноголосно шумела московская коммуналка... Мне и сейчас еще слышится, как на кухне шипят, обливаясь кипящим молоком и щами, керогазы и примусы, хотя, возможно, это наплыв более давних и совсем других воспоминаний».

* * *

Первое время в коммунальных коридорах часто ночевали домработницы. До революции это явление было распространено повсеместно. Нищий студент мог отказаться от горячих обедов, от кофе и чая, иметь лишь одну пару обуви – но домашняя работница у него была, хотя бы приходящая. Эта традиция настолько прочно въелась в мозг, что долго не могла оттуда выбраться. Власти разрушали храмы, освобождали угнетенные народы, создавали те же коммуналки – и при этом спокойно мирились с институтом домашних работниц. Видимо, чтобы не увеличивать и без того катастрофические нагрузки на биржи труда.

В свою очередь, еще до революции многие практически (а кто-то и фактически) породнились со своей прислугой. Не только бывший барин не мог представить свою жизнь без домработницы – и домработница не представляла, как это она вдруг окажется предоставлена сама себе, боялась такой перспективы до желудочных колик. К тому же некоторые крестьянки, оказавшись не у дел, перебирались в город и записывались на биржу труда как потенциальные домработницы. Прекратить эту практику значило нанести еще один удар и без того плачевному рынку занятости.

Возникла парадоксальная ситуация: тот, кто до 1917 года как-то обходился без домашней работницы, вдруг получил возможность ею обзавестись.

Вот характерный эпизод из жизни поэта Сергея Есенина, описанный библиографом Иваном Ивановичем Старцевым: «Однажды он проработал около трех часов кряду над правкой корректуры “Пугачева” и, уходя в “Стойло”, забыл корректуру на полу перед печкой, сидя около которой он работал. Возвратившись домой, он стал искать корректуру. Был поднят на ноги весь дом. Корректуры не было. Сыпались отборные ругательства по адресу приятелей, бесцеремонно, по обыкновению, приходивших к Есенину и рывшихся в его папке. И что же – в конце концов выяснилось, что прислуге нечем было разжигать печку, она подняла валяющуюся на полу бумагу (корректуру “Пугачева”) и сожгла ее. Корректурка была выправлена на следующий день вновь».

В этот период жизни Сергей Александрович скитался по писательским коммунам и по коммуналкам. Но без прислуги – пусть и приходящей – своей жизни не мыслил.

Этим труженицам чужого быта следовало где-то спать. Днем они находились как бы одновременно всюду и нигде определенно. То на кухне готовит, то ванную чистит, то в магазин за картошкой пошла. Но во время сна ей все же была необходима определенная локация.

В комнатах и без того было тесно, да и класть туда прислугу казалось неправильным – чужой все-таки человек. Бывшие помещения для домработниц функционировали в режиме полноценных жилых комнат. Оставался коридор.

Вот воспоминания Глеба Горбовского:

«Родился в городе. Причем в прекрасном городе.

Измышленном дерзостью разума и воздвигнутом волею Великого Петра. Но детство прошло не в сиятельных апартаментах, а в многолюдной, густой коммуналке, в десятиметровой комнате на троих. И вот что запомнилось ярче прочего: в проходном квартирном пространстве общего пользования, будто на пешеходном мосту, соединяющем “черный ход” коммуналки с основным ходом, под портретом наркома Ежова, на гигантском окованном сундуке жила у нас в квартире “ничья бабушка” из сельских. В свое время кем-то выхваченная из деревни в няньки, да так и забытая в коридоре, – то ли младенец, которого надлежало ей нянчить, умер до срока, то ли родители младенца поссорились и развелись, – во всяком случае, бабушка жила в коридоре на сундуке, ела хлебную тюрю с луком, крестилась на свет электролампы, шептала молитвы и, за неимением собственного младенца, ласкала время от времени меня и всех остальных малолеток жилобщины. Ласкала, угощала тюрей и вместо сказок рассказывала нам иногда о своей деревне.

Ее рассказы были пересыпаны необыкновенными словами, такими, как “поветь”, “поскотина”, “пряслице”, “загнеток”, “лузно”, “гумно”, “сусек”, казавшиеся мне словами если не сказочными, то иностранными. Эти лохматые, грубого помола “скобарские” выражения нравились мне, тогдашнему учительскому сынку, привыкшему к правильной, монотонной речи образованных родителей, так же, как нравились горожанину, очутившемуся в деревне, крестьянский хлеб с парным молоком, разваристая картошка с малосольными огурцами, колодезная вода из ковша».

Впрочем, известны совсем уж экзотические истории. В частности, в одной из московских коммуналок, состоящей всего из двух комнат, домработница жильцов одной из этих комнат

спала в ванной. И ничего, соседи были не в претензии. Действительно – должен же где-то спать советский человек, строитель коммунизма.

Ванная комната вообще воспринималась многими не как инфраструктурный элемент, а как жилая площадь, ничем не отличающаяся от другой такой же жилой площади – бывшей каминной, например, или же дворницкой. Мариенгоф писал в повести «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги»: «Мы обменялись со своим парнем жилплощадью: Кирка перебрался в отремонтированную бывшую ванную комнату, а мы в ту, где он проживал сначала в фибровом чемодане, а потом в кровати с пестрыми шнурами».

Так продолжалось до 1929 года, после чего – не домработниц запретили, нет, конечно. Просто стали требовать согласия соседей на размещение прислуги в общественных местах. Соседи, разумеется, давать такие разрешения не спешили – кто-то хотел денег (очевидно же, что домработницу держат не самые бедные строители коммунизма), кто-то принципиально был против. В любом случае, в прихожих и других местах стало значительно просторнее.

Тем не менее ванная комната и впредь нередко уступала свои первоначальные функции в пользу более насущных. Владимир Лакшин писал о литературном критике Марке Щеглове: «Я вспоминаю его... дома, в Электрическом переулке близ Белорусского вокзала, в этой маленькой, узкой, как щель, полутемной комнатке, служившей некогда ванной и заселенной в эпоху коммуналок и “уплотнений”, – он сидит, подвернув ноги, на сундуке, с книжкой в руках».

Марк Александрович, один из талантливейших отечественных литературоведов, с двух лет болел костным туберкулезом и скончался в возрасте тридцати лет. Живи он в нормальных условиях – видимо, протянул бы дольше, и отечественное литературоведение от этого здорово выиграло бы. Но, как нетрудно догадаться, в послевоенные годы, к каковым относятся воспоминания Лакшина, было не до литературоведения, не до литературных критиков и не до инвалидов. Рассовать бы кое-как людей по норам и углам.

* * *

Одним из основных участников коридорной жизни, постоянно отыгрываемых режиссерами и живописцами, был велосипед. Он либо стоял, либо висел на рогульках. Детские трехколесные велосипеды все время откуда-то свешивались, и рослые жители коммуналок регулярно задевали их своими нечесаными, а нередко и вшивыми головами.

Чтобы представить себе все разнообразие этих колесных жителей, расскажем коротко об эволюции советской двухколески.

Все началось в 1939 году, когда Пермский машиностроительный завод стал выпускать подростковую «Каму» – с невысокими колесами, рулем, напоминающим туры рога, и складной рамой, облегчающей хранение велосипеда в условиях советской коммуналки. Первое время раму действительно складывали и раскладывали, а потом механизм либо ржавел и переставал раскладываться, либо расшатывался, после чего приходилось выбрасывать весь велосипед.

Тем не менее сама модель вышла живучей – ее сняли с производства только в 2006 году.

Сразу же после войны, в 1946 году, в рамках конверсии стал выпускать велосипеды Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова. Модель так и называлась – «ЗиЧ-1», что расшифровывалось как «Завод имени Чкалова – Первый». Второго, правда, не последовало, зато первый вышел хоть куда. Крепкая, мощная, практически неубиваемая машина с переключателем передач, звонком, кожаной сумкой, прицепленной не к верхней раме, а к заднему багажнику – это смотрелось солидно. Кожух от попадания штанов между ведущей звездочкой и цепью. А главное – фара на крыле переднего колеса и генератор, питающий эту фару от энергии вращения того же переднего колеса.

На этой штуке можно было ездить ночью по разбитым послевоенным дорогам и ничего не бояться.

С 1947 года в цехах Минского мотовелозавода приступили к выпуску велосипеда «Аист» – тоже со складной рамой и высоким рулем. «Аист» также был снабжен откидывающимся костыликом для парковки при отсутствии внешних опор в стоячем состоянии. То есть после откидывания костылика велосипед приобретал третью точку опоры, и его не надо было ни прислонять к чему-либо, ни класть на пыльный асфальт. Вещь довольно удобная.

Это единственная советская модель велосипеда, которая выпускается по сей день.

Еще один подростковый велосипед, рассчитанный на седоков десяти-одиннадцати лет. Он так и назывался – «Школьник», встал на конвейер Горьковского велосипедного завода в 1956 году и выпускался ровно три десятилетия. Честно говоря, о нем даже писать не хочется – такое ощущение, что эту синюю или зеленую конструкцию без каких-либо отличительных черт и так представляет себе каждый читатель, более или менее интересующийся прошлым (а другой читатель эту мою книгу просто в руки не возьмет). Он разве что выделялся защитным кожухом, размещенным над цепью и призванным защищать штаны всадника от попадания и зажевывания этой хорошо промасленной деталью. Но это в теории. А на практике цепь все равно почему-то зажевывала край штанов, и его приходилось, как и на других велосипедах, фиксировать деревянной (а других в то время и не выпускали) бельевой прищепкой.

В 1964 году на Харьковском велосипедном заводе начали выпускать гоночный «Спутник» – лаконичный, как советский сервант приблизительно той же эпохи, но зато с системой передач двумя тормозами и круто загнутыми вниз рогами руля. Как начали, так и закончили – в 1968 году «Спутник» вдруг сняли с производства. Ну а там и коммунальная эпоха медленно пошла на спад.

В середине прошлого столетия все велосипеды должны были иметь свой регистрационный номер, состоящий из названия города, собственно номера и года его выдачи. В сельской местности этим, естественно, пренебрегали – там и у машин-то не у всех имелись номера. В городах и правда приходилось регистрировать и вешать. Это касалось даже детских трехколесных велосипедиков, на которых малыши гоняли под двором.

Были редкостью, но все-таки существовали велосипеды с моторчиком – так называемые самоходные велосипеды. Моторы, впрочем, ставили и сами пользователи – тогда велосипед превращался в мопед или приобретал более скромное, вполне расхожее название – «велосипед с моторчиком».

В некоторых случаях велосипеды выдавались на работе в качестве служебного транспорта – например почтальонам. Иногда к велосипедам прицепляли нечто наподобие прилавка – такой велосипед участвовал в процессе уличной торговли.

Однако же у большинства жителей коммуналок при слове «велосипед» всплывал в памяти огромный, неудобный и рогатый монстр, стоящий или же висящий в коридоре и щедро раздающий синяки квартирным обитателям, особенно когда они слегка «подвыпивши».

Власти старались поощрять велосипедный спорт. В частности, в 1930 году «в целях облегчения трудящимся возможности приобретать велосипеды и увеличения средств для строительства и расширения велосипедных заводов» были выпущены так называемые «велосипедные обязательства», дающие возможность накопить деньги на двухколеску. По сути это был целевой вклад, а не возможность приобретать велосипеды в кредит. Таким образом, коммунальные коридоры обзаводились все новыми и новыми двухколесными жителями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.